WILLIAM SHAKESPEARE SONNETS владимир гандельсман







william shakespeare **SONNETS**

VLADIMIR GANDELSMAN



ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН



MOSCOW • SAINT-PETERSBURG 2020

москва • санкт-петербург 2020 УДК 821.111-1=161.1 ББК 84(4Вел)-5 Ш41



Шекспир, Уильям

Ш41 Сонеты / Уильям Шекспир ; перевод Владимира Гандельсмана. — М.: Издательство «2020», 2020. — 96 с.

Владимир Аркадьевич Гандельсман (р. 1948) — один из самых ярких ныне живущих поэтов, блестящий переводчик. Автор двух десятков сборников стихов, изданных в России и США, лауреат многих поэтических премий: «Liberty» (2008), Русская премия (2008), «Московский счёт» (2011), «Anthologia» (2012).

Родился и вырос в Ленинграде. В 1989 году переехал в США, преподавал русский язык и литературу. Известны его многочисленные переводы американских поэтов XX века, а плод его многолетних трудов по переводу избранных сонетов Шекспира, представленный в этой книге, — настоящая жемчужина. Виртуозное владение языком, тонкая нюансировка позволяют автору передать всё богатство текстов великого английского поэта.

мир пожалев, себя ему отдай

ISBN 978-5-6044655-0-9

© В. Гандельсман, стихи, 2020 © А. Филиппов, макет, 2020 © В. Черешня, послесловие, 2020 © ИП Старостина, 2020

Ι

From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory: But thou contracted to thine own bright eyes, Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, Making a famine where abundance lies, Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel: Thou that art now the world's fresh ornament, And only herald to the gaudy spring, Within thine own bud buriest thy content, And, tender churl, mak'st waste in niggarding: Pity the world, or else this glutton be, To eat the world's due, by the grave and thee.

d &

Ι

Мы так хотим, чтоб не увял росток! Пусть длится, возрождаясь без конца, цветенье розы, а как выйдет срок, пусть память сына пестует отца. Но ты! Ты, упоённый лишь собой, своим прекрасным взором распалённый, ты, красоту ведущий на убой, жестокосердый и самовлюблённый, ты, враг себе, на майскую тропу едва ступив, чтоб стать красою мира, свой дар в себе хоронишь, как в гробу. О, вдохновенный скаред и транжира! Мир пожалев, себя ему отдай и поедом свой дар не поедай.



Π

When forty winters shall besiege thy brow, And dig deep trenches in thy beauty's field, Thy youth's proud livery so gazed on now, Will be a totter'd weed of small worth held: Then being asked, where all thy beauty lies, Where all the treasure of thy lusty days; To say, within thine own deep sunken eyes, Were an all-eating shame, and thriftless praise. How much more praise deserv'd thy beauty's use, If thou couldst answer 'This fair child of mine Shall sum my count, and make my old excuse,' Proving his beauty by succession thine! This were to be new made when thou art old, And see thy blood warm when thou feel'st it cold.



Π

Когда минует сорок зим, и бровь нахмурится твоя, и красота лица, к которой льнёт теперь любовь, пожухнет, как опавший лист, — тогда чем оправдаешься? Где гордый взгляд, и чувственность, и юность, и восторг? В запавших ли глазах, где стыд растрат с прожорливостью поведут свой торг?.. Но был бы ты воистину хвалим, сказав: «Моё дитя перед тобой, прекрасное, — и я оправдан им. Мой юный возраст стал его судьбой». Пусть в сыне разгорается твой жар, когда ты холодеешь, дряхл и стар.



III

Look in thy glass and tell the face thou viewest Now is the time that face should form another; Whose fresh repair if now thou not renewest, Thou dost beguile the world, unbless some mother. For where is she so fair whose uneared womb Disdains the tillage of thy husbandry? Or who is he so fond will be the tomb Of his self-love, to stop posterity? Thou art thy mother's glass and she in thee Calls back the lovely April of her prime; So thou through windows of thine age shalt see, Despite of wrinkles, this thy golden time. But if thou live, remembered not to be, Die single and thine image dies with thee.



III

Узнав себя в своём отображенье зеркальном, не захочешь ли узнать свой облик в обновлённом продолженье? Нет? Мир скорбит: ей матерью не стать. Но есть ли та, прекрасная, чья пашня призреет плуг? И кто так нерадив и так самовлюблён, что бесшабашно проводит жизнь, потомства не родив? Вы с матерью отражены друг в друге, она в тебе находит отблеск лет своей весны, — так в старческом недуге ты, как в окне, в юнце найдёшь свой свет. Но если ты не хочешь обновленья и ты, и образ твой — добыча тленья.



IV

Unthrifty loveliness, why dost thou spend Upon thy self thy beauty's legacy? Nature's bequest gives nothing, but doth lend, And being frank she lends to those are free: Then, beauteous niggard, why dost thou abuse The bounteous largess given thee to give? Profitless usurer, why dost thou use So great a sum of sums, yet canst not live? For having traffic with thy self alone, Thou of thy self thy sweet self dost deceive: Then how when nature calls thee to be gone, What acceptable audit canst thou leave? Thy unused beauty must be tombed with thee, Which, used, lives th' executor to be.



IV

Зачем просаживаешь, милый мот, наследство, данное природой в долг? В ладу со щедростью природы тот, кто в щедрости не меньше знает толк. Такая сумма — и коту под хвост? Великолепный скряга, ростовщик растяпа, не пустивший деньги в рост, всё под себя? Ты в мире временщик. С самим собою сделка, что влечёт тебя, скупец, противна естеству когда природа свой предъявит счёт, оплатишь ли его по существу? В амбаре зря гниёт твоё зерно. Но в землю брось — и прорастёт оно.



V

Those hours, that with gentle work did frame The lovely gaze where every eye doth dwell, Will play the tyrants to the very same And that unfair which fairly doth excel; For never-resting time leads summer on To hideous winter, and confounds him there; Sap checked with frost, and lusty leaves quite gone, Beauty o'er-snowed and bareness every where: Then were not summer's distillation left, A liquid prisoner pent in walls of glass, Beauty's effect with beauty were bereft, Nor it, nor no remembrance what it was: But flowers distilled, though they with winter meet, Leese but their show; their substance still lives sweet.



V

То время, что затепливает взор любимых глаз, даруя жизнь ему, таит в себе и смертный приговор, жизнь постепенно уводя во тьму; оно замкнёт легчайший летний день немедлящее! — на засов тяжёлый, и дерево под снеговую сень уйдёт, дрожа в растерянности голой. Но если выветрится аромат листвы и лета — тот, что день за днём хранит веранда, — значит, умер сад, и даже проблеск памяти о нём. Пусть облетает дерево в свой срок его живит души древесный сок.



VI

Then let not winter's ragged hand deface, In thee thy summer, ere thou be distilled: Make sweet some vial; treasure thou some place With beauty's treasure ere it be self-killed. That use is not forbidden usury, Which happies those that pay the willing loan; That's for thy self to breed another thee, Or ten times happier, be it ten for one; Ten times thy self were happier than thou art, If ten of thine ten times refigured thee: Then what could death do if thou shouldst depart, Leaving thee living in posterity? Be not self-willed, for thou art much too fair To be death's conquest and make worms thine heir.



VI

Так пусть зимы корявая рука дыхание твоё не пережмёт, и плодотворной влагой, как река, ты осчастливишь русло той, что ждёт. Ведь на такую ссуду нет суда увидят и должник, и кредитор прекрасный плод взаимного труда, пополнивший их двуединый хор. А если ты родишь десятерых, то и для смерти будешь снаряжён неуязвимо, в образах своих десятикратным светом отражён. Будь щедр, чтоб красоту свою и стать в наследие червям не передать.



VIII

Music to hear, why hear'st thou music sadly? Sweets with sweets war not, joy delights in joy: Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly, Or else receiv'st with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sounds, By unions married, do offend thine ear, They do but sweetly chide thee, who confounds In singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, Strikes each in each by mutual ordering; Resembling sire and child and happy mother, Who, all in one, one pleasing note do sing: Whose speechless song being many, seeming one, Sings this to thee: 'Thou single wilt prove none.'



VIII

Зачем, созвучный музыке, грустишь при музыке? — В созвучье нет вражды! Зачем родному не благоволишь, а неродному радуешься ты? И если гармоничный этот строй тебя коробит, значит, в нём упрёк улавливаешь, мягкий, но прямой: тебе твоё безбрачие не впрок. Смотри, в каком согласии струна живёт с другой и с третьей — как семья, где мать, отец и их дитя — одна ликующая нота бытия. Их песня бессловесна и проста: в сиротстве ты никто. Ты сирота.





любовь щедрей всех залежей земли



XVII

Who will believe my verse in time to come, If it were filled with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb Which hides your life, and shows not half your parts. If I could write the beauty of your eyes, And in fresh numbers number all your graces, The age to come would say 'This poet lies; Such heavenly touches ne'er touched earthly faces.' So should my papers, yellowed with their age, Be scorned, like old men of less truth than tongue, And your true rights be termed a poet's rage And stretched metre of an antique song: But were some child of yours alive that time, You should live twice, in it, and in my rhyme.



XVII

Кто мне в веках поверит? Знает Феб, как истово поэт тебя творит! Увы, ты заключён в сонет, как в склеп, а значит, в землю гений твой зарыт. Но даже если глаз прелестных свет я выражу творением своим, кто мне в веках поверит? Скажут: «Нет, небесное не может быть земным». И пожелтевший свиток осмеют как бред трясущегося старика: «Над чем трястись? Высокопарен труд, и не живёт искусная строка». Но если ты наследника родишь, себя двойною жизнью оперишь.



XX

A woman's face with nature's own hand painted, Hast thou, the master mistress of my passion; A woman's gentle heart, but not acquainted With shifting change, as is false women's fashion: An eye more bright than theirs, less false in rolling, Gilding the object whereupon it gazeth; A man in hue all hues in his controlling, Which steals men's eyes and women's souls amazeth. And for a woman wert thou first created; Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, And by addition me of thee defeated, By adding one thing to my purpose nothing. But since she prick'd thee out for women's pleasure, Mine be thy love and thy love's use their treasure.



ΧХ

Самой Природою сотворено твоё лицо, — ни капельки жеманства, а сердце — нежно-женственное, но без женской фальши и непостоянства. Притом — мужская стать! Твой взор, слепя всех, на кого направлен, — воплощенье ума, и кто ни взглянет на тебя, немедленно приходит в восхищенье. Ты был задуман женщиной сперва, но слишком увлеклась тобой Природа, к изящным совершенствам естества добавив кончик мужеского рода. Конечною любовью женщин радуй, мне ж будет бесконечная наградой.



XXIV

Mine eye hath played the painter and hath steeled, Thy beauty's form in table of my heart; My body is the frame wherein 'tis held, And perspective that is best painter's art. For through the painter must you see his skill, To find where your true image pictured lies, Which in my bosom's shop is hanging still, That hath his windows glazed with thine eyes. Now see what good turns eyes for eyes have done: Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me Are windows to my breast, where-through the sun Delights to peep, to gaze therein on thee; Yet eyes this cunning want to grace their art, They draw but what they see, know not the heart.



XXIV

Тебя, под стать художнику, мой взгляд впечатал в сердце и в грудную клеть, как в раму, вставил, — живописи брат, я образ твой хотел бы так воспеть, чтоб, созданный во мне, как в мастерской, где окна — навсегда — глаза твои, он стал бы благодарностью самой; мой взгляд, вняв притяжению любви, отныне твой, и солнце льнёт к нему, чтоб в мастерскую заглянуть извне и высветить всё то, что одному, при всём искусстве, не под силу мне. Тому, кто видит только то, что есть перед глазами, сердце не прочесть.



XXVII

Weary with toil, I haste me to my bed, The dear repose for limbs with travel tired; But then begins a journey in my head To work my mind, when body's work's expired: For then my thoughts — from far where I abide — Intend a zealous pilgrimage to thee, And keep my drooping eyelids open wide, Looking on darkness which the blind do see: Save that my soul's imaginary sight Presents thy shadow to my sightless view, Which, like a jewel hung in ghastly night, Makes black night beauteous, and her old face new. Lo! thus, by day my limbs, by night my mind, For thee, and for myself, no quiet find.



XXVII

Устав от странствий, я хочу уснуть. Не тут-то было: лишь погаснет свет раздумьем о тебе продолжен путь, и чаемого избавленья нет. Из тех краёв, где я нашёл приют, мои глаза к тебе, забыв про сон, как два слепца, впивая тьму, идут, и мысль — их поводырь, и я спасён тем, что в ночи являешься ты мне как чистый бриллиант, что он, лучась, одушевляет в дальней стороне и наделяет жизнью чёрный час. Измотан за день, я хочу уснуть, но в мыслях о тебе всё длится путь.



XXIX

When in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state, And trouble deaf heaven with my bootless cries, And look upon myself, and curse my fate, Wishing me like to one more rich in hope, Featured like him, like him with friends possessed, Desiring this man's art, and that man's scope, With what I most enjoy contented least; Yet in these thoughts my self almost despising, Haply I think on thee, and then my state, Like to the lark at break of day arising From sullen earth, sings hymns at heaven's gate; For thy sweet love remembered such wealth brings That then I scorn to change my state with kings.



XXIX

Когда, людьми отвержен, одинок, в глухие небеса я шлю мольбы, и проклинаю беспощадный рок, и плачу, и хочу иной судьбы, когда на изобилие и стать чужие я в упор и без стыда, но с завистью гляжу, желая стать не тем, что есть, о господи, тогда, гнушаясь этой суетности, вдруг я вспоминаю о тебе, мой друг, и жаворонком утренней зари (прости!) душа трепещет: воспари, любовь щедрей всех залежей земли, и гимн поёт, и что ей короли!



XXXVII

As a decrepit father takes delight To see his active child do deeds of youth, So I, made lame by Fortune's dearest spite, Take all my comfort of thy worth and truth; For whether beauty, birth, or wealth, or wit, Or any of these all, or all, or more, Entitled in thy parts, do crowned sit, I make my love engrafted to this store: So then I am not lame, poor, nor despised, Whilst that this shadow doth such substance give That I in thy abundance am sufficed, And by a part of all thy glory live. Look what is best, that best I wish in thee: This wish I have; then ten times happy me!



XXXVII

Как старцу светел юности напев (сын молод и красив!), так жизнь твоя единственный мой свет с тех пор, как я покинул храм Фортуны, охромев. И если родовитость, ум и честь тебе по-царски дарит этот храм, позволь и мне свою любовь причесть, быть может, лишнюю, к твоим дарам. Тогда, к чертям собачьим хромоту послав, на этом месте, где стою, в тени твоих достоинств обрету не тень, но свет и подлинность свою. Всё, что тебя лелеет и творит, меня сторицей счастьем одарит.





не в силах прозябать, зову я смерть



XLI

Those pretty wrongs that liberty commits, When I am sometime absent from thy heart, Thy beauty, and thy years full well befits, For still temptation follows where thou art. Gentle thou art, and therefore to be won, Beauteous thou art, therefore to be assailed; And when a woman woos, what woman's son Will sourly leave her till he have prevailed? Ay me! but yet thou mightst my seat forbear, And chide thy beauty and thy straying youth, Who lead thee in their riot even there Where thou art forced to break a twofold truth: Hers by thy beauty tempting her to thee, Thine by thy beauty being false to me.



XLI

Чуть от меня, мой друг, ты отрешён, уж милыми грешками окружён. Они идут твоим младым летам, а уж соблазны, эти — по пятам. Ты добр, вот и оседлан, ты хорош собой, вот и в осаде, а когда осада длится, ты не удерёшь: как женским козням не ответить «да»? Но всё ж меня ты мог и поберечь, слегка уняв штормящий свой недуг бриг, бороздя моря, дал дважды течь... Меня мороча и своих подруг, ты красотой обманываешь тех, с кем изменяешь мне, матрос утех!



LIII

What is your substance, whereof are you made, That millions of strange shadows on you tend? Since every one hath, every one, one shade, And you but one, can every shadow lend. Describe Adonis, and the counterfeit Is poorly imitated after you; On Helen's cheek all art of beauty set, And you in Grecian tires are painted new: Speak of the spring, and foison of the year, The one doth shadow of your beauty show, The other as your bounty doth appear; And you in every blessed shape we know. In all external grace you have some part, But you like none, none you, for constant heart.



LIII

Твоих оттенков столько на земле, что их не сосчитать, — ведь мир велик! Вот некто. Он в единственном числе. А ты неисчислим и многолик. Пусть мне Адонис явится во сне он лишь твоё подобье, пусть черты Елены воссоздаст художник мне... Хитон дорийский? Да. Но это ты. Весна ль идёт, в зелёный рог трубя, лес примеряет ли свою парчу, где совершенство формы, там тебя я неопровержимо различу. Лишь постоянства сердца твоего не ведает другое существо.



LV

Not marble, nor the gilded monuments Of princes, shall outlive this powerful rhyme; But you shall shine more bright in these contents Than unswept stone, besmear'd with sluttish time. When wasteful war shall statues overturn, And broils root out the work of masonry, Nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn The living record of your memory. 'Gainst death, and all oblivious enmity Shall you pace forth; your praise shall still find room Even in the eyes of all posterity That wear this world out to the ending doom. So, till the judgment that yourself arise, You live in this, and dwell in lovers' eyes.



LV

Мёртв мрамор монументов, не дано ему сравниться мощью со стихом, чьё бытие, тобой вдохновлено, не ржавчина гробниц, заросших мхом. Когда война всё выжжет и разор всё высквозит — ни Марс своим мечом, ни гром небесный, ни всемирный мор тебя не уничтожат нипочём. И как бы ни косила смерть косой и ни погряз в беспамятстве и зле враждебный человеку род людской, во славе ты пребудешь на земле. До Страшного суда живи в стихах и в очарованных тобой глазах.



LXI

Is it thy will, thy image should keep open My heavy eyelids to the weary night? Dost thou desire my slumbers should be broken, While shadows like to thee do mock my sight? Is it thy spirit that thou send'st from thee So far from home into my deeds to pry, To find out shames and idle hours in me, The scope and tenor of thy jealousy? O, no! thy love, though much, is not so great: It is my love that keeps mine eye awake: Mine own true love that doth my rest defeat, To play the watchman ever for thy sake: For thee watch I, whilst thou dost wake elsewhere, From me far off, with others all too near.



LXI

Когда смыкает веки тяжесть ночи (ты задался тревожить отдых мой?), моим глазам твои перечат очи, весь образ твой, дразнящий и немой. В такую даль отправиться из дома! Подглядывать? Увидеть ли двоих, когда их жжёт бесстыжая истома? Не ревность ли в наперсницах твоих? О нет! Моей любовью поколеблен мой сон — твоя любовь не столь сильна, сколь образ твой, — так горячо он слеплен, что выжег из глазниц остатки сна. Ты не со мной, но я твой соглядатай, мой закадычный враг, мой друг заклятый!



LXVI

Tired with all these, for restful death I cry, As to behold desert a beggar born, And needy nothing trimm'd in jollity, And purest faith unhappily forsworn, And gilded honour shamefully misplaced, And maiden virtue rudely strumpeted, And right perfection wrongfully disgraced, And strength by limping sway disabled And art made tongue-tied by authority, And folly, doctor-like, controlling skill, And simple truth miscalled simplicity, And captive good attending captain ill: Tired with all these, from these would I be gone, Save that, to die, I leave my love alone.



LXVI

Не в силах прозябать, зову я смерть. Несносно видеть, как скудеет знать, и, озверев, роскошествует смерд, и распинается с амвона блядь, и продают невинность, как товар, и в уши недоносков льют елей, и оклеветывают светлый дар, и власть дряхлеющая всё подлей, и тошно видеть рабий горб творца, и доброту в невольных слугах зла, и над умом глумление глупца, и простоту, что дурой прослыла. Не в силах прозябать. Но длю свой срок, чтоб друг не стал до срока одинок.



LXXIII

That time of year thou mayst in me behold When yellow leaves, or none, or few, do hang Upon those boughs which shake against the cold, Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang. In me thou see'st the twilight of such day As after sunset fadeth in the west; Which by and by black night doth take away, Death's second self, that seals up all in rest. In me thou see'st the glowing of such fire, That on the ashes of his youth doth lie, As the death-bed, whereon it must expire, Consumed with that which it was nourish'd by. This thou perceiv'st, which makes thy love more strong, To love that well, which thou must leave ere long.



LXXIII

Мне в душу заглянув, увидишь прах листвы озябшей, падающей ниц, когда разор и холод на хорах сгоняют с мест сладкоголосых птиц. Увидишь, как заходит солнце, как на западе, стирая светотень, рождается прообраз смерти — мрак и на ночь опечатывает день. Увидишь, как, стихая по чуть-чуть, огонь развеивается дымком, как на заре затеплившийся путь измерен на закате стариком. Увидишь — и полюбишь тем сильней, чем ближе окончанье этих дней.





мой дух в тебе взыграет, как вино



LXXIV

But be contented when that fell arrest Without all bail shall carry me away, My life hath in this line some interest, Which for memorial still with thee shall stay. When thou reviewest this, thou dost review The very part was consecrate to thee: The earth can have but earth, which is his due; My spirit is thine, the better part of me: So then thou hast but lost the dregs of life, The prey of worms, my body being dead; The coward conquest of a wretch's knife, Too base of thee to be remembered. The worth of that is that which it contains, And that is this, and this with thee remains.



LXXIV

Дай руку, друг! Когда меня в острог спровадят и не выручит залог, мне жизнь продлит строка, где ты воспет: твоим триумфом полнится сонет. Всё лучшее, что у поэта есть, читай, мой друг! — тебе посвящено. Когда я превращусь в земную персть, мой дух в тебе взыграет, как вино. Он в смертную не попадётся сеть, а то, что потрошительница-смерть устроит из меня, — не стоит слов. На корм червям пойдёт её улов. Настоян на тебе, мне жизнь продлит мой голос, в стихотворный кубок влит.



LXXXVI

Was it the proud full sail of his great verse, Bound for the prize of all too precious you, That did my ripe thoughts in my brain inhearse, Making their tomb the womb wherein they grew? Was it his spirit, by spirits taught to write Above a mortal pitch, that struck me dead? No, neither he, nor his compeers by night Giving him aid, my verse astonished. He, nor that affable familiar ghost Which nightly gulls him with intelligence, As victors of my silence cannot boast; I was not sick of any fear from thence: But when your countenance filled up his line, Then lacked I matter; that enfeebled mine.



LXXXVI

Что — так возвысил стих он, паруса хвалы раздув прекрасному тебе, что мысль моя, как тот, кто родился и тут же умер, сгинула во тьме? Что — так возвысил дух он, у творцов минувшего учась и превзойдя обыденность, что я, в конце концов, стал тише, чем угасшее дитя? Нет, ни при чём ни стих его, ни дух, дурманящий в ночи душком побед, в том, что умолк я, нет ничьих заслуг, ничем таким я не напуган, нет. Меня опустошает не боязнь, но к обольстителю твоя приязнь.



LXXXVII

Farewell! thou art too dear for my possessing, And like enough thou know'st thy estimate, The charter of thy worth gives thee releasing; My bonds in thee are all determinate. For how do I hold thee but by thy granting? And for that riches where is my deserving? The cause of this fair gift in me is wanting, And so my patent back again is swerving. Thy self thou gavest, thy own worth then not knowing, Or me to whom thou gav'st it else mistaking; So thy great gift, upon misprision growing, Comes home again, on better judgement making. Thus have I had thee, as a dream doth flatter, In sleep a king, but waking no such matter.



LXXXVII

Прощай, твоих щедрот я недостоин, ты слишком знаешь цену сам себе, и потому один ты в поле воин, а твой ценитель сдан своей судьбе. Как обойтись без твоего согласья, чтобы таким сокровищем владеть? Вернув его себе, ты в одночасье вернул всё то, о чём я смел радеть. Не знал ли ты, насколько дар твой ярок, иль просто разуверился во мне, вновь у тебя бесценный твой подарок. Распорядись умнее, он в цене. Чем был мой титул крёза? Лестью сна. Но сон исчез, а с ним моя казна.



XCV

How sweet and lovely dost thou make the shame Which, like a canker in the fragrant rose, Doth spot the beauty of thy budding name! O! in what sweets dost thou thy sins enclose. That tongue that tells the story of thy days, Making lascivious comments on thy sport, Cannot dispraise, but in a kind of praise; Naming thy name blesses an ill report. O! what a mansion have those vices got Which for their habitation chose out thee, Where beauty's veil doth cover every blot And all things turns to fair that eyes can see! Take heed, dear heart, of this large privilege; The hardest knife ill-used doth lose his edge.



XCV

Как роза, что таит в себе изъян, ты, облачив в изящество позор дурных поступков, подаёшь обман под шёлком лепестков: невинный взор, осанка, голос, имя таковы, что людям и грехи твои милы, а обличения в устах молвы скорее уж звучат как похвалы. Пороку царский выстроен дворец, тлетворный и родной, он твой жилец, вредитель, но — в изысканном ларце, и ни следа порока на лице. Будь бережен и нажитое впрок не расточай — затупишь хоботок.



XCVIII

From you have I been absent in the spring, When proud pied April, dressed in all his trim, Hath put a spirit of youth in every thing, That heavy Saturn laughed and leapt with him. Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell Of different flowers in odour and in hue, Could make me any summer's story tell, Or from their proud lap pluck them where they grew: Nor did I wonder at the lily's white, Nor praise the deep vermilion in the rose; They were but sweet, but figures of delight, Drawn after you, you pattern of all those. Yet seemed it winter still, and you away, As with your shadow I with these did play.



XCVIII

С тобой в разлуке я весну провёл, когда, нарядной юностью храним, апрель так жизнерадостно расцвёл, что и смурной Сатурн смеялся с ним. Но пенье птиц и сладкий аромат цветов во всей красе их неземной не вдохновляли, и роскошный сад безмолвно обходил я стороной. Ни лилий белизна, ни алость роз не трогали души — казалось мне, что эта череда метаморфоз лишь эхо черт твоих, и, как во сне, где нет тебя и длится зимний день, я среди них искал родную тень.



CVI

When in the chronicle of wasted time I see descriptions of the fairest wights, And beauty making beautiful old rhyme, In praise of ladies dead and lovely knights, Then, in the blazon of sweet beauty's best, Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, I see their antique pen would have expressed Even such a beauty as you master now. So all their praises are but prophecies Of this our time, all you prefiguring; And for they looked but with divining eyes, They had not skill enough your worth to sing: For we, which now behold these present days, Have eyes to wonder, but lack tongues to praise.



CVI

Листая летопись былых времён, я вижу сонм прославленных имён и райские — о томных дамах и нерукотворных рыцарях — стихи. Их руки, лбы, глаза... Пускай старо предание — черт чудных не стереть. Не потому ль, что древнее перо пытается не их — тебя воспеть? Ты им предвосхищён, мой друг, и власть поэзии явила б твой портрет, но, право же, пророческая страсть не стоит совершенств твоих, о нет! Ведь даже я, не из былых времён из нынешних, — немею, восхищён.





«Уильям» пусть душа твоя твердит



CVII

Not mine own fears, nor the prophetic soul Of the wide world dreaming on things to come, Can yet the lease of my true love control, Supposed as forfeit to a confined doom. The mortal moon hath her eclipse endured, And the sad augurs mock their own presage; Incertainties now crown themselves assured, And peace proclaims olives of endless age. Now with the drops of this most balmy time, My love looks fresh, and Death to me subscribes, Since, spite of him, I'll live in this poor rhyme, While he insults o'er dull and speechless tribes: And thou in this shalt find thy monument, When tyrants' crests and tombs of brass are spent.



CVII

Мой страх слепой или ведун-пророк всевидящий не в силах ни предречь предел моей любви, ни дать ей срок, чтоб в каталажку навсегда упечь. Затмение осилив, лик луны вновь обретает ясность и покой. Пусть над собой смеются ведуны. Цветёт олива над моей строкой. Блаженствует мой друг в её тени, на милость мне сдаётся смерть, когда я бедной рифмой провожаю дни. Пройдут бесследно серые стада, но не исчезнешь ты с моих страниц они прочней царей и их гробниц.



CXVI

Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not love Which alters when it alteration finds, Or bends with the remover to remove: O, nol it is an ever-fixed mark, That looks on tempests and is never shaken; It is the star to every wandering bark, Whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks Within his bending sickle's compass come; Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved.



CXVI

Не быть преградою для тех двоих, что созданы для брака! Их любовь не чувство, заплутавшее в своих капризах, не удача и улов. Нет, нет. Любовь — из нерушимых вех. Неколебима и стихий поверх, она звезда для сбившихся с пути. Рукой подать, и всё же не дойти. В ней нет фиглярства времени, хотя серп косит всё: колосья и цветы. Она, самой нетленности дитя, незыблема. До роковой черты. Не так? Тогда никто не знал любви, а всё написанное мной порви.


CXXVI

O thou, my lovely boy, who in thy power Dost hold Time's fickle glass, his sickle, hour; Who hast by waning grown, and therein showest Thy lovers withering, as thy sweet self growest. If Nature, sovereign mistress over wrack, As thou goest onwards still will pluck thee back, She keeps thee to this purpose, that her skill May time disgrace and wretched minutes kill. Yet fear her, O thou minion of her pleasure! She may detain, but not still keep, her treasure: Her audit (though delayed) answered must be, And her quietus is to render thee.

CXXVI

Прелестный отрок, гаснет день за днём и увядает мир и друг твой в нём, лишь ты один — ты временем владеешь, в чьём зеркале коварном молодеешь! Природа, верховодя и круша, тобою дорожит, моя душа, не для того ль, чтобы умерить прыть секунд, а то и вовсе их убить? Страшись, природы баловень беспечный, и знай, что ты избранник, но не вечный, что как она ни медлит, в некий год она предъявит свой смертельный счёт.





CXXXV

Whoever hath her wish, thou hast thy Will, And Will to boot, and Will in over-plus; More than enough am I that vexed thee still, To thy sweet will making addition thus. Wilt thou, whose will is large and spacious, Not once vouchsafe to hide my will in thine? Shall will in others seem right gracious, And in my will no fair acceptance shine? The sea, all water, yet receives rain still, And in abundance addeth to his store; So thou, being rich in Will, add to thy Will One will of mine, to make thy large will more. Let no unkind, no fair beseechers kill; Think all but one, and me in that one Will.



CXXXV

Кто бы тебя ни тешил в неглиже, один Уильям метит прямо в цель, взведя копьё! Он именем уже к сладимой щели льнёт и льётся в щель. Увлажнена ль, чтобы Уильям мог там пировать, шекс-пировать, иль ждёт он изволенья зря? Смотри, он взмок. Ужели не Уильям? Кто? Вон тот? Уильям грянет ливнем в океан! — Не переполнить? Пусть. Но утолить, насытив, страсть! Он страждет, пьян и рьян, уильямсь, всё в сладимую излить. Впусти меня — и в пиршестве утех в Уильяме сольётся похоть всех.



CXXXVI

If thy soul check thee that I come so near, Swear to thy blind soul that I was thy Will, And will, thy soul knows, is admitted there; Thus far for love, my love-suit, sweet, fulfil. Will, will fulfil the treasure of thy love, Ay, fill it full with wills, and my will one. In things of great receipt with ease we prove Among a number one is reckoned none: Then in the number let me pass untold, Though in thy store's account I one must be; For nothing hold me, so it please thee hold That nothing me, a something sweet to thee: Make but my name thy love, and love that still, And then thou lovest me for my name is 'Will.'



CXXXVI

Клянусь слепой душе твоей, что я Уильям, по складам меня читай: У-и-льям — в нём желанье льёт ливмя. Оно твоё, впусти меня, впитай! Уильям в тайниках твоей любви разбудит сонм желаний, среди них настоянное на его крови. Возможно, растворённое в других, оно тебя не тронет, но позволь ему там быть, считай меня ничем, но всё-таки считай, — пусть эта роль не главная и до поры я нем. «Уильям» пусть душа твоя твердит, и он любовью в ней заговорит.



CXXXVII

Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes, That they behold, and see not what they see? They know what beauty is, see where it lies, Yet what the best is take the worst to be. If eyes, corrupt by over-partial looks, Be anchored in the bay where all men ride, Why of eyes' falsehood hast thou forged hooks, Whereto the judgment of my heart is tied? Why should my heart think that a several plot, Which my heart knows the wide world's common place? Or mine eyes, seeing this, say this is not, To put fair truth upon so foul a face? In things right true my heart and eyes have erred, And to this false plague are they now transferred.



CXXXVII

Любовь-дурёха, что за слепота? Мои глаза не видят то, что эрят перед собой, — им внятна красота, но пялятся на всё дерьмо подряд. Зачем они швартуются в порту, в котором промышляет матросня, зачем суются в ту же срамоту, в которую совались до меня? Зачем себе внушать, что отведён причал любви-дурёхи одному, тогда как не причал он, а притон? О, похоть, неподвластная уму! Как сучка, ложь, ты спуталась со мной, и, чумку подхватив, я стал чумной.





но страсть мою водой не остудить



CXXXVIII

When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies, That she might think me some untutored youth, Unlearned in the world's false subtleties. Thus vainly thinking that she thinks me young, Although she knows my days are past the best, Simply I credit her false-speaking tongue: On both sides thus is simple truth suppressed: But wherefore says she not she is unjust? And wherefore say not I that I am old? O! love's best habit is in seeming trust, And age in love, loves not to have years told: Therefore I lie with her, and she with me, And in our faults by lies we flattered be.



CXXXVIII

Клянётся, что правдива, хоть и врёт. Пусть думает любовь моя, что я, как юноша, разинув глупый рот, клюю на все наживки бытия. В угоду ей я подпою тщете. Твердит: «Ты молод», зная: я не юн. Мы с ней друг к другу, как щепа к щепе, прибились, — о, плутовка, я твой лгун! С чего бы исхитряться ей во лжи? С чего бы мне быть с правдой не в ладах? Любовь в летах прельщают миражи, поэтому — ни слова о летах! С пилюлей сладкой старость проведём, а там, глядишь, и время проведём.



CXXXIX

O! call not me to justify the wrong That thy unkindness lays upon my heart; Wound me not with thine eye, but with thy tongue: Use power with power, and slay me not by art, Tell me thou lov'st elsewhere; but in my sight, Dear heart, forbear to glance thine eye aside: What need'st thou wound with cunning, when thy might Is more than my o'erpressed defence can bide? Let me excuse thee: ah! my love well knows Her pretty looks have been mine enemies; And therefore from my face she turns my foes, That they elsewhere might dart their injuries: Yet do not so; but since I am near slain, Kill me outright with looks, and rid my pain.



CXXXIX

О нет, твоя игра не стоит свеч, в жестокосердии хитришь ты зря. Пусть не глаза язвят твои, но речь. Убей в открытую, а не хитря. Поведай, если кто-то сердцу мил, не шарь глазами, стоит ли юлить и ранить, дорогая, если сил прямых достаточно, чтобы убить? А хочешь, оправдаю? Нет вранья! Ты просто знаешь силу глаз своих и обращаешь взгляд не на меня, чтоб истребить соперников моих. Увы. Но если друг твой полужив, добей его, и впрямь добей, не вкривь.



CXL

Be wise as thou art cruel; do not press My tongue-tied patience with too much disdain; Lest sorrow lend me words, and words express The manner of my pity-wanting pain. If I might teach thee wit, better it were, Though not to love, yet, love to tell me so; As testy sick men, when their deaths be near, No news but health from their physicians know; For, if I should despair, I should grow mad, And in my madness might speak ill of thee; Now this ill-wresting world is grown so bad, Mad slanderers by mad ears believed be. That I may not be so, nor thou belied, Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide.



CXL

Будь столь умна, сколь безрассудно зла, не надо из меня верёвки вить, чтобы смиренность грусти не сползла в отчаяние и не стала выть. Поддельною любовью одурачь, а та, глядишь, надеждой наделит... (Так доходяге сердобольный врач выздоровленье скорое сулит.) Не то ещё свихнусь, надев колпак фигляра, чьи уста прилюдно лгут, а уши мира вывернуты так, что к злобной клевете с доверьем льнут! С меня притворных глазок не своди, а то сведёшь с ума. О, не своди!



CXLI

In faith I do not love thee with mine eyes, For they in thee a thousand errors note; But 'tis my heart that loves what they despise, Who, in despite of view, is pleased to dote. Nor are mine ears with thy tongue's tune delighted; Nor tender feeling, to base touches prone, Nor taste, nor smell, desire to be invited To any sensual feast with thee alone: But my five wits nor my five senses can Dissuade one foolish heart from serving thee, Who leaves unswayed the likeness of a man, Thy proud heart's slave and vassal wretch to be: Only my plague thus far I count my gain, That she that makes me sin awards me pain.



CXLI

Я говорю себе: «Не верь глазам, которые в ней видят лишь порок», и за влюблённым сердцем по пятам иду вслепую, правды поперёк. Ни голоса, чтоб услаждал мой слух, ни запаха, чтоб на него, как зверь, я жадно шёл, нацелив хищный нюх, и вожделел тебя, — их нет, поверь! Но ни уму, ни чувствам не унять моей сердечной глупости, меня держащей в рабстве, некому пенять я всё ничтожнее день ото дня. Один доход от этой срамоты: ты грех мой, и расплата — тоже ты.



CXLV

Those lips that Love's own hand did make, Breathed forth the sound that said 'I hate', To me that languished for her sake: But when she saw my woeful state, Straight in her heart did mercy come, Chiding that tongue that ever sweet Was used in giving gentle doom; And taught it thus anew to greet; 'I hate' she altered with an end, That followed it as gentle day, Doth follow night, who like a fiend From heaven to hell is flown away. 'I hate', from hate away she threw, And saved my life, saying 'not you'.



CXLV

Любовью сотворённую гортань вдруг криком «Ненавижу!» обожгло. Бродяжничая, я забрёл за грань тоски — зачем же грозно так и зло? И тут она, увидев боль мою, прониклась милосердием, браня нещадную порывистость свою, она вовеки не кляла меня! и — словно ночь кромешную сменил пригожий день, и провалилась ночь в тартарары, — с приливом новых сил она сказала ненависти: «Прочь», добавив к «ненавижу», не любя, но всё-таки спасая: «Не тебя».



CLIII

Cupid laid by his brand and fell asleep: A maid of Dian's this advantage found, And his love-kindling fire did quickly steep In a cold valley-fountain of that ground; Which borrowed from this holy fire of Love, A dateless lively heat, still to endure, And grew a seething bath, which yet men prove Against strange maladies a sovereign cure. But at my mistress' eye Love's brand new-fired, The boy for trial needs would touch my breast; I, sick withal, the help of bath desired, And thither hied, a sad distempered guest, But found no cure, the bath for my help lies Where Cupid got new fire; my mistress' eyes.



CLIII

Амур уснул — и факел стал ничей. Ещё секунда сна не истекла, а уж одна из нимф как отсекла огонь любви, швырнув его в ручей. И тот взыграл, приняв огонь в себя, и закипел, и стал животворящ для тех, кто жил, соблазнами губя свою природу, и разрушил хрящ. Но взгляд моей возлюбленной опять сей пламенник зажёг, и я в тоске спешу к ручью болезнь свою унять... Нет! Бдит Амурчик с факелом в руке! Боль и спасение мои — лишь в той, что вновь воздвигла факел золотой.



CLIV

The little Love-god lying once asleep, Laid by his side his heart-inflaming brand, Whilst many nymphs that vowed chaste life to keep Came tripping by; but in her maiden hand The fairest votary took up that fire Which many legions of true hearts had warmed; And so the General of hot desire Was, sleeping, by a virgin hand disarmed. This brand she quenched in a cool well by, Which from Love's fire took heat perpetual, Growing a bath and healthful remedy, For men diseased; but I, my mistress' thrall, Came there for cure and this by that I prove, Love's fire heats water, water cools not love.



CLIV

Амур вздремнул и выронил из рук свой пламенник, которым пламенит сердца, и нимфы-девственницы вкруг ловца сошлись. Сморённый сном, он спит. Вот головню одна из них берёт, прекраснейшая, и немедля тот, кто стольким даровал сердечный жар, утрачивает свой верховный дар. Она бросает в ледяной ручей оружие божка, чтобы поток целебней становился, горячей, дав исцеленье тем, кто занемог. Так просто пламень холоду ссудить, но страсть мою водой не остудить.





ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что может побудить поэта переводить неоднократно переведённое, в некоторых случаях — блистательно? Только ощущение родства и надежда, что удастся передать те черты подлинника, которым не суждено было пока обрести выражения в новом языке, во всяком случае, в полную силу.

Случай Шекспира — особый. В нём каждый переводчик видит своё, настаивает на своём и отчасти оказывается прав, поскольку гений Шекспира снисходительно позволяет перетолковывать себя в любом духе, вплоть до сентиментальной умудрённости. Какие же черты шекспировских сонетов оказались близки поэту Владимиру Гандельсману? На мой взгляд, самые существенные: энергия выражения мысли, её живость и глубина, кажущаяся парадоксальность, которая при ближайшем рассмотрении является самым точным и ёмким определением. Вот развитие темы первого сонета стянуто в почти восхищённый выдох: «О, вдохновенный скаред и транжира!» Как можно одновременно быть скаредом и транжирой? А только так и бывает, уверяет Шекспир: с одной стороны, твой эгоизм и нежелание продолжиться в потомстве — свидетельство скаредности, с другой — ты транжиришь лучшие годы в пустых наслаждениях и самодовольстве. И, конечно, нельзя не восхититься тем, как в переводе глубокое шекспировское «скряга, расточающий себя в скупости» обернулось точным и звучным парадоксом «скаред и транжира»!

Все возможности языка, которыми Гандельсман владеет виртуозно, использованы для адекватной передачи тонкости шекспировской мысли, искрящегося взаимодействия неоднозначных её отсветов. Вплоть до игры двойными значениями слова. В сонете 138 неверная возлюбленная уверяет старика-любовника, что он молод, и оба прекрасно осведомлены о взаимной лжи, но понимают, что только эта двойная ложь (знаешь, что тебе лгут, но делаешь вид, что не знаешь) — залог их совместной жизни и любви. Финал сонета:

С пилюлей сладкой старость проведём, а там, глядишь, и время проведём.

Игра двумя смыслами слова «проведём» прожить отрезок времени и обмануть — выявляет мысль Шекспира во всей её глубине и блеске: взаимный обман позволяет обмануть извечных врагов любви — старость и время, и тем самым обрести возможное на земле счастье.

Искушённый читатель сам оценит находки переводчика в остальных сонетах, дарующие возможность соприкоснуться с незнакомым ещё Шекспиром. А я закончу таким (возможно, спорным) утверждением: хороший перевод — это стихи переводчика, вдохновлённые оригиналом. С небольшой оговоркой: если оба они — поэты, желательно равновеликие, то есть сумевшие передать сходные мысли и чувства своим уникальным языком.

Что в случае перевода избранных сонетов, несомненно, произошло.

Валерий Черешня

ОГЛАВЛЕНИЕ

сонет	I 7
сонет	2 9
сонет	3 11
сонет	4 13
сонет	5 15
сонет	6 17
сонет	8 19
сонет	17 23
сонет	20 25
сонет	24 27
сонет	27 29
сонет	29 31
сонет	37 33
сонет	41 37
сонет	53 39
сонет	55 41
сонет	61 43
сонет	66 45
сонет	73 47
сонет	74 51

сонет	86	 .53
сонет	87	 55
сонет	95	 57
сонет	98	 59
сонет	106	 61
сонет	107	 65
сонет	116	 67
сонет	126	 69
сонет	135	 71
сонет	136	 .73
сонет	137	 75
сонет	138	 79
сонет	139	 81
сонет	140	 83
сонет	141	 85
сонет	145	 87
сонет	153	 89
сонет	154	 91
Послес	ловие	 92

Уильям Шекспир СОНЕТЫ

перевод Владимира Гандельсмана

Арт-директор Лина Старостина Художественный редактор Андрей Филиппов Вёрстка и обработка изображений Татьяна Шубинская Корректор Леонид Горшков

> Подписано к печати 22.05.2020 г. Формат 70х100/16. Гарнитура Academy. Печать офсетная. Бумага Munken Print Cream. Усл. печ. л. 6. Тираж 300 экз.

ИП Старостина/Издательство «2020». 123182, Москва, ул. Авиационная, 66, 70 E-mail: starostina2020@yahoo.com

Знак информационной продукции (18+) (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010)

Отпечатано в типографии «Политехника-сервис» 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 18Д





